

СЕРГЕЙ ЗЕНКИН*

ЗАКОНЫ ТРАНСГРЕССИИ**

Аннотация: Эпоха модерна, обосновавшая создание общественных и гуманитарных наук, столкнулась с непостоянством законов этих наук, которые исторически меняются, допускают возмущающие воздействия индивидов и, следовательно, включают в себя *закономерные исключения и нарушения* — то, что в социальной теории называют трансгрессией. В отличие от обычного исключения из правил трансгрессия всегда переживается и осознается субъектом; в отличие от диалектического противоречия она не обязательно включает в себя момент развития. Трансгрессия может затрагивать как дескриптивные, так и прескриптивные законы, распространяться на логические классификации, языковые правила, социальное поведение людей. Ее динамическая структура заставляет сопоставлять ее с устройством повествования — текста, интегрирующего во временной последовательности разнородные, нередко противоречащие друг другу элементы (события). В статье рассматриваются различные виды трансгрессивных нарушений в науке и художественной литературе, связанных с законами разных дисциплин: логические исключения (на примере одного из эпизодов романа Флобера «Бувар и Пекюше», где обнаруживается противоречивость ботанической классификации), психологическое остранение (на примере теорий русских формалистов — в таких литературных эффектах, как аномальное скопление плавных согласных в фонетике поэтических текстов или «единство и теснота стихового ряда» в их семантике), ритуальная трансгрессия в антропологии (на примере теорий Жоржа Батая о нарушении сексуальных запретов, подтверждающем их существование и переживаемом субъектом как прегрешение). Воспроизводя трансгрессивные практики в художественном творчестве, литература и искусство вырабатывают новую форму мимесиса, специфически присущую современной культуре: происходящее при трансгрессии взаимообращение «плюса» и «минуса», иерархический переворот ценностей составляют постоянную черту новоевропейской мысли; такова форма самоосуществления современного субъекта, переживающего свою «экзистенцию» в выходе за пределы законопослушного поведения и творчества.

Ключевые слова: закон и его нарушение, диалектика, повествование, литература, поэтика, социология.

DOI: 10.17323/2587-8719-2019-4-59-74.

Сначала, для введения в тему, — несколько примеров из русской классической литературы:

Мы дики, нет у нас законов,
Мы не терзаем, не казим...

*Зенкин Сергей Николаевич, д. филол. н., главный научный сотрудник, Российский государственный гуманитарный университет (Москва), sergezenkine@hotmail.com.

**© Зенкин, С. Н. © Философия. Журнал Высшей школы экономики.

И мимо всех условий света
Стремится до утраты сил,
Как беззаконная комета
В кругу расчисленном светил.

...Затем, что ветру, и орлу,
И сердцу девы нет закона.
Таков поэт...

Драматического писателя должно судить по законам, им самим над собою признанным.

Эти общеизвестные цитаты из Пушкина показывают, сколь спорным стало понятие закона в XIX веке, какой критике оно могло подвергаться в самых разных областях — социально-юридической (первый пример — из поэмы «Цыганы»), психологической (второй пример — из стихотворения «Портрет»), философско-эстетической (третий пример — из повести «Египетские ночи», и четвертый — из письма Бестужеву, январь 1825 г.). Действительно, в современную эпоху, совместными, хотя и разнонаправленными, усилиями либерализма и романтизма в европейской культуре утвердился принцип свободного, самоопределяющегося субъекта, приходящего в конфликт с идеей закона. Художественными проявлениями этого конфликта могли быть романтический «сатанизм», фигура «проклятого поэта», а в серьезной политической рефлексии — оправдание революции, восстания против законной власти (по разным мотивам — как либеральным, так и социалистическим). Идеологическими обоснованиями этого конфликта, опять-таки иллюстрируемыми цитатами из Пушкина, могли быть отрицание институциональных законов в пользу естественных, непризнание каких-либо вообще законов в человеческом поведении и (особенно) творчестве, утверждение индивидуальных законов, «над собою признанных» самим субъектом; последняя идея дала уже в начале XX века у Георга Зиммеля теорию «индивидуального закона»: «...нет ни одного закона, над содержанием которого не стоял бы в качестве высшей инстанции вопрос: *мой* ли это долг?» (Зиммель, Левина и Руткевич, 1996: 168). Под последнюю категорию подводится и пушкинский образ «беззаконной кометы»: он служит для описания своенравного индивида, но логика метафоры говорит о другом — комета как небесное тело не является абсолютно «беззаконной», просто у нее другой, свой собственный закон обращения, в каком-то смысле ею самую «над собою признанный» и отличный от тех, которыми регулируется

«круг расчисленный светил»; тем не менее в конечном счете он восходит к тем же самым общим законам Ньютона и Кеплера¹.

Если от этих поэтических деклараций и метафор обратиться к научной мысли, то окажется, что в современную эпоху (начиная с XIX века) категория закона стала применяться к новым, непривычным объектам, таким как необратимые исторические процессы общественной жизни и культуры; иными словами, возник вопрос о *законах изменения*. Историческая наука отказалась от своей прежней роли *magistra vitae*, рассматривающей прошлое как неподвижный, вечно повторяющийся набор поучительных морально-политических примеров, и взялась изучать процесс развития, в который вовлечено человечество и у которого есть свои специфические законы (включающие, например, закономерность революционных перемен). Также и сложившаяся в романтическую эпоху лингвистика стала различать два вида законов: терминологически их могли противопоставлять как внутренние синхронические «закономерности» отдельного языка (которым позднейшая структурная лингвистика придала более строгую форму структурных *законов*) и исторические «законы» развития разных языков, которым подчинены как отдельные их элементы, так и общие структуры. Предложенное в конце XIX века различение номотетических и идеографических наук не вполне вычлениет этот новый объект научных исследований: действительно, у некоторых идеографических дисциплин — истории, исторического языкознания — все-таки имеются свои законы, только это законы не повторяющегося (и экспериментально проверяемого, как в естественных науках), а уникально-исторического изменения, которое может исследоваться как идеографически, так и номотетически.

В ситуации таких подвижных, изменяющихся законов возможна еще одна специфическая ситуация «законоприменения», которую иногда называют *трансгрессией*, — значимое и в известном смысле *закономерное нарушение закона*. По словам Юрия Лотмана, писавшего о бытовом поведении в XIX в., «возникают правила для нарушения правил и аномалии, необходимые для нормы» (Лотман, 1992а: 296). Ниже будут кратко рассмотрены несколько других примеров такого нарушения;

¹Любопытно, что слово «беззаконный» в стихах Пушкина амбивалентно, оно может служить и для осуждения: «Художник-варвар кистью сонной // Картину гения чернит // И свой рисунок беззаконный // На ней бессмысленно чертит...» («Возрождение»); «Пред силой беззаконной // Не гнуть ни совести, ни мысли непреклонной» («Из Пиндемонти», черновой вариант).

речь пойдет то о естественнонаучных законах (биологической классификации), то о законах языка (устройстве художественных текстов), то о собственно общественных законах (морально-религиозных запретах). Во всех случаях будут анализироваться тексты, содержащие в себе не акт трансгрессии как таковой, а рефлексии о нем — отчасти теоретическую, отчасти художественную. Эти эпизоды концептуальной «истории вопроса» помогают четче определить предмет нашего размышления.

В конце марта 1880 года, всего за несколько недель до скоропостижной смерти, Гюстав Флобер пишет письмо своему знакомому ботанику Фредерику Бодри и просит у него совета для романа «Бувар и Пекюше», над которым он работает. В очередной главе этого сатирико-энциклопедического повествования двое героев занимаются воспитанием приемных детей и, в частности, учат их ботанике. И вот с какой неразрешимой задачей они должны столкнуться, по замыслу писателя:

...мне нужно, во-первых, такую истину, которая являлась бы как можно более общей, во-вторых, три растения, на которые эта истина не распространялась бы, а в-третьих, такое растение, которое представляло бы исключение из этого исключения (Флобер, Андрес, 1984b: 272).

Флобер высказался не очень ясно, и это сбило с толку его корреспондента, который стал убеждать его вообще не трогать в романе ботанику, раз уж он так мало в ней смыслит. Получив эти поучения, писатель пришел в «ярость» (там же: 275) и, обращаясь уже к другим советчикам, включая своего литературного «ученика» Ги де Мопассана, в конце концов сумел-таки добыть искомый факт из ботаники, который и был включен в текст «Бувара и Пекюше»: у каждого растения есть чашечка (правило) — но у семейства мареновых чашечки нет (исключение) — но у шерардии, принадлежащей к семейству мареновых, чашечка все-таки есть («исключение из исключения» — фраза, несколько раз повторенная в письмах Флобера, — там же: 278, 279). «Вот тебе на! Уж если сами исключения неверны [les exceptions elles-mêmes ne sont pas vraies], так кому же верить?» — озадаченно резюмирует один из героев романа (Флобер, Вахтерова, 1984a: 334).

Повествование флюберовского романа разворачивается как демонстрация ненадежности всех наук, в их законах вновь и вновь обнаруживаются дефекты, всевозможные «исключения» из правил, лишь отчасти объяснимые тем, что исследователи-неофиты по собственной глупости неспособны разобраться в законе. В главе о воспитании, одной из последних по задуманному писателем плану, эта шаткость научного знания

как бы возводится в квадрат: Бувар и Пекюше не просто сами пытаются следовать теориям (например, как они это делали в начале романа, заниматься сельским хозяйством «по науке»), но и преподавать их другим — своим воспитанникам; с операционального языка-объекта (руководства к практическому действию) они переходят на педагогический мета-язык (руководство к познанию). Соответственно и простое исключение «первой степени» превращается здесь в «исключение из исключения».

Нарушение ботанического закона, сначала придуманное Флобером в абстрактном виде (то есть опять-таки на уровне обобщенного метаязыка), а затем, задним числом, проиллюстрированное подобранным к нему реальным научным парадоксом, объективно представляет собой изъясн классификации. Как выясняется, семейство мареновых, определенное по ряду свойственных ему признаков, — это не строгий *класс*, где все элементы равно обладают всеми этими признаками, а зыбкий *тип* — неоднородное множество, разные элементы которого представляют собой более или менее «хорошие примеры» данного типа. В частности, один из этих элементов может не обладать одним из общих признаков (отсутствием чашечки), тем самым удовлетворяя правилу, исключением из которого является все семейство в целом; в этом-то смысле он и представляет собой «исключение из исключения». Ученым-естественникам не удалось однозначно определить класс — то есть сферу действия данного правила / закона, — и он частично, по некоторым признакам, пересекается с другим классом, где это правило не должно было бы действовать. В результате понятие «исключения» оказывается вообще бессмысленным: «исключение из исключения», до которого доискивался Флобер, — это просто общий «закон», которому подчиняется в числе прочих и одно из растений «исключительного» семейства.

Но так обстоит дело при объективном и вневременном взгляде со стороны. Не менее важно то, как сам писатель и его герои субъективно и последовательно переживают этот процесс двойного отрицания закона. Процесс развернут на три этапа — сначала утверждается общее правило, затем полагается ряд исключений из него, а потом в этом ряду обнаруживается исключение второй степени. Для романских героев это драматически переживаемое разрушение научной логики, а для автора романа — искомый эффект, который он заранее, еще не зная конкретных примеров, запрограммировал в своем сюжетном сценарии; его бурные эмоциональные реакции, зафиксированные в письмах, говорят о том, насколько важно было ему реализовать эту схему «неправильного исключения» или, что то же самое, *закономерного нарушения закона*:

Ги прислал мне *мою* ботаническую справку: *я оказался прав!* Г-н Бодри посрамлен! Получил я ее от профессора ботаники из Ботанического сада; а *прав* я оказался потому, что эстетика есть Истина, и на определенной ступени умственного развития (когда владеешь методом) ошибки быть не может. Действительность не соответствует идеалу, но подтверждает его (Флобер, Андрес, 1984b: 279).

Второй пример взят не из художественной практики писателя, деконструирующего науку, а, наоборот, из науки, обобщающей опыт художественного творчества и восприятия. Речь идет о литературной теории русского формализма, где были сформулированы некоторые странные законы, трактующие об отмене, систематическом нарушении в художественном тексте общих законов языка².

Как показал в 1917 г. Лев Якубинский, в языковой деятельности на русском языке встречаются две противоположных стратегии по отношению к труднопроизносимым скоплениям плавных согласных *л* и *р*: для разрешения этой артикуляционной проблемы повседневный практический язык исключает одну из плавных или заменяет ее другой согласной (это называется «закон расподобления плавных»), поэтический же язык, наоборот, стремится сохранять повторяющиеся согласные и даже искусственно умножает их плотность специальным подбором слов — аллитерацией (см.: Якубинский, 1986: 176–182). Таким образом, в поэзии, где отступает на второй план практическая значимость слов и повышается ценность их звуковой формы, закон расподобления плавных регулярно нарушается, скопление плавных становится допустимым, а то и желательным. Нельзя сказать, что при этом один закон отменяется другим, действующим параллельно для некоторых особых случаев, — здесь имеет место прямая коллизия двух противоположных законов, переживаемая читателем и создающая эстетический эффект. Если рассматривать практический язык повседневного общения как норму (а именно таков имплицитный принцип лингвистики, представителем которой был Лев Якубинский), то поэтический язык оказывается аномалией, а его законы — нарушением общих законов языка. Чтобы получилась поэтическая речь, приходится идти наперекор обычному языку и даже совершать над ним насилие.

Закон трансгрессии действует не только на фонетическом, но и на семантическом уровне языка. Примером его является тыняновский принцип «единства и тесноты стихового ряда», сформулированный

²Эти примеры уже рассматривались в книге: Zenkine, 2018: 129–131.

в книге 1924 г. «Проблема стихотворного языка» (Тынянов, 2002: 115). В стихе, объясняет Тынянов, образуется своя специфическая семантика, которая активизирует второстепенные смысловые признаки слов, обычно не используемые в повседневной речи. Возникающая в результате концентрация смысла представляет собой семиотическую аномалию, так как для безошибочного понимания речи последняя должна быть информационно избыточной³. Вообще, аномален любой эффект «остранения» — только аномалия может казаться «странной». Существенно, однако, что аномалии (или *фигуры*) поэтического языка не являются случайными или произвольными; они поддаются кодификации, включаются в процессы циклизации и редукции, и теория русского формализма, как до нее старинная риторика, стремилась установить специфический закон их функционирования. В концепциях ОПОЯЗа этот закон более парадоксален, чем в риторической традиции: он императивен, подобно законам языка (без остранения не бывает поэзии), но он не действует автоматически, ненамеренно для говорящего, его выполнение — результат сознательного решения поэта, идущего наперекор обычному языковому узысу. Это закон сопротивления и нарушения.

Третий пример взят из антропологической теории, разрабатывавшейся в середине XX века во Франции в книгах Жоржа Батая и Роже Кайуа. Батай в трактате «Эротика» (1956) определял эротический опыт (который, по его мысли, имеется только у человека, в отличие от животных, обладающих лишь сексуальностью) как опыт закономерного нарушения запретов: человеческое общество налагает запрет на буйную «ярость» половых влечений, но этот запрет осознается лишь в ходе его непременных нарушений, ему нужны эти нарушения.

Истина запретов — ключ к нашему существованию как людей. Мы должны и мы способны сознавать, что запреты не навязаны нам извне. Мы понимаем это в тревожный миг *преодоления* запрета — в тот неустойчивый момент, когда запрет все еще играет свою роль, но мы уже начинаем поддаваться противоположному импульсу. Если мы соблюдаем запрет и подчиняемся ему, то перестаем его осознавать. А в миг трансгрессии мы ощущаем тревогу, без которой и не было бы запрета: это опыт греха (Батай, Гальцова, 2006: 514).

Батай продолжает, на уровне философской абстракции, социологические построения своего друга Роже Кайуа, который в книге «Человек и сакральное» (1939) разделял сакральные предметы и действия на

³Структурализм перенес эту идею в общую семиотику культуры. См. Лотман, 1992b: 100–101, и в других местах.

«респективное» и «трансгрессивное», то есть «блустительное» и «нарушительное» сакральное (*le sacré de respect, le sacré de transgression* — Кайуа, Зенкин, 2003: 186, 218). Последнее проявляется особенно в *празднике* — ритуальном нарушении и обращении обычных норм жизни, что включает в себя, помимо прочего, снятие табу на сексуальность. Как известно, в одни годы с Кайуа, но, скорее всего, не зная его работ, проблемой праздника занимался в советской России и Михаил Бахтин, готовивший свою книгу о Рабле (Бахтин, 1965). Он также подчеркивал «нарушительный» характер «карнавальной культуры» по отношению к законам и запретам культуры «официальной», включая опять-таки нарушение запрета на сексуальность и, шире, на всевозможные проявления «телесного низа», особенно на их упоминание в текстах и представление в публичных ритуалах.

Термин «трансгрессия», употребляемый обоими французскими авторами для обозначения таких «законопреступлений», было бы неточно переводить буквально, исходя из его внутренней формы, «преступление», — именно потому, что оба теоретика имеют в виду не произвольное нарушение закона, но нарушение, предусмотренное самим законом (например, введенное в ритуальные рамки и развертывающееся в особом, праздничном времени) и делающее явным сам закон, необходимое для его осознания. Такое нарушение не уничтожает закона, даже временно; в частности, эротическая трансгрессия принципиально отлична от регрессии; это не возврат в животное состояние «бесстыдной сексуальности». «...Трансгрессия отличается от „возврата к природе“: она снимает запрет, не уничтожая его», — объясняет Батай и тут же в примечании указывает на философскую модель такого жеста: «Нет нужды подчеркивать здесь гегелевский характер данного рассуждения, где имеется в виду момент диалектики, выражаемый непереводаемым немецким глаголом *aufheben* (преодолевать сохраняя)» (Батай, Гальцова, 2006: 512).

Насколько, однако, точна эта философская генеалогия? Гегелевская диалектика действительно служит примирению противоречий, позволяя сохранять «снятый», подвергнутый отрицанию, тезис в новом образовании, возникшем из его отрицания. Однако этим она не исчерпывается: ее цель — описывать процессы *развития*, а не периодические, циклически повторяющиеся модуляции. В случаях же, рассмотренных выше, перед нами всякий раз не столько диалектическое *Aufhebung* (снятие), сколько периодическое отступление и возвращение назад, включающее полную редукцию допущенного нарушения. Используя гегельянскую

схему, Батай сознательно или нет изымает из нее историческое измерение, необратимый ход прогресса. Сходный культурный механизм описывает и книга Бахтина «Творчество Франсуа Рабле» (опубл. 1965): после ее издания некоторые критики пытались объявить ее (отчасти, вероятно, с целью оправдать ее с точки зрения марксистской ортодоксии) «диалектическим» исследованием, но не принимали в расчет ритуальный характер средневековой культуры, не «снимающей», а лишь временно приостанавливающей законы культуры «официальной». Трансгрессивное нарушение этих законов представляет собой не их «развитие», «совершенствование» или даже «замену», а рискованную вылазку в «беззаконную» область абсолютно Иного, нередко осмысляемого как *сакральное* (ср. теорию праздника как сакрального момента в календаре, по теории Роже Кайуа). Трансгрессия, даже словесная в случае литературного «остранения», не находит себе места в неогегельянской стратификации языковой деятельности, которую предложил Фердинанд де Соссюр: она не соответствует ни «языку» (так как нарушает его законы), ни «речи» (так как сама имеет закономерный и надындивидуальный характер). В случае же флюберовского романа сюжет хоть и содержит в себе схему трехчленной диалектики, но эта диалектика вывернута наизнанку — вместо финального синтеза здесь озадачивающий тупик «исключения из исключения».

Не менее существенно другое обстоятельство, уже упомянутое выше в связи с некоторыми нашими примерами: трансгрессия обязательно *создается* субъектом как исключительный, временный выход за рамки закона. Ее нельзя определить как диалектический переход количества в качество — по аналогии, например, с плавлением твердого вещества, которое по достижении определенной температуры делается текучим, то есть начинает вести себя с нарушением прежде соблюдавшегося закона (теряет устойчивую пространственную форму); или по аналогии с биологической мутацией, которая, согласно дарвиновской теории эволюции, может закрепиться естественным отбором и образовать «новый закон», структуру нового вида живых существ; или даже по аналогии с социально-политической революцией, которая образует перелом в развитии общества и объективно включает в себя отмену прежнего законопорядка и создание нового. Правда, субъективно, самим своим участникам и современникам революция может казаться переходом мира в абсолютно иное агрегатное состояние — его тотальной ликвидацией, разжижением, коллективно переживаемым опытом смерти, которая

не является «развитием» (см.: Бланшо, Зенкин, 1994: 85–87). В политической философии аналогом такой мировой трансгрессии может считаться «чрезвычайное положение» — судьбоносное исключение из правовых норм, которым, согласно Карлу Шмитту, закладываются основы государственной власти:

Исключение интереснее нормального случая. Нормальное не доказывает ничего, исключение доказывает все; оно не только подтверждает правило, само правило существует только благодаря исключению (Шмитт, Коринец, 2000: 29).

В отличие от чисто политического кризиса, то есть кризиса властных отношений в обществе, о котором писал Шмитт, трансгрессия включает в себя кризис *смысла*.

Трансгрессия не совпадает не только с диалектическим «снятием», но и с обычным «исключением» из эмпирического правила, которое, по логике научного знания, обычно свидетельствует о неполноте, ограниченности теории и требует пересматривать и совершенствовать ее с учетом иных, конкурирующих законов⁴: отличие опять-таки в том, что трансгрессия включает в себя не только собственно нарушение правила, но и сознание, резкое переживание этого нарушения. Эта сторона дела особенно подчеркнута у Батая, который вводит в свою главу об эротической трансгрессии специальное рассуждение о том, что последняя познаваема только изнутри, через «внутренний опыт» тревоги и греха. Однако то же обстоятельство заметно и в других наших примерах: логическая, классификационная трансгрессия у Флобера остро переживается как героями романа (с растерянностью), так и его автором (с торжеством), языковая трансгрессия, согласно формалистической эстетике, переживается любым читателем, ощущающим, что перед ним особенный язык, где если и есть законы, то только «над собою признанные» самим поэтом. Во всех случаях в структуру трансгрессии с необходимостью включается *темпоральность*: норма, ее нарушение и дальнейшее восстановление (редукция нарушения) образуют временную последовательность, которая не только охватывается *post factum*

⁴Ср.: «...многие объекты подпадают сразу под несколько законов, поэтому тот факт, что птицы не падают, как камни [...] не означает, что они являются исключениями из закона всемирного тяготения, — просто они находятся еще и в поле действия законов аэродинамики» (Добрицын, 2014: 63). В случае трансгрессии второй, альтернативный закон парадоксально обусловлен субъективной инициативой.

объективным взглядом историка или философа-диалектика, но и обязательно проживается изнутри вовлеченным в нее субъектом.

Не случайно, что все приведенные примеры так или иначе связаны с литературой и искусством, хотя и всякий раз выходят за их пределы (тоже своего рода транс-грессия, но в ином смысле слова). Это либо опыт писателя-романиста, выслеживающего «слепые точки» в науке (Флобер), либо литературная теория русских формалистов (среди которых были крупные писатели — Шкловский, Тынянов), либо субъективная антропология писателя-эссеиста Батая, либо относительно объективная антропология Бахтина, выведенная из анализа книг старинного французского писателя (Рабле); даже Кайуа, в основном писавший теоретические эссе о культуре, был в молодости членом сюрреалистской группы, а в дальнейшем сочинил все-таки несколько собственно литературных, нарративных текстов. Действительно, можно предположить, что жест трансгрессии соотносится не столько с диалектической процедурой, сколько с ходом *повествования*. Трехчленная матрица «порядок — нарушение — восстановление порядка» представляет собой не столько схему диалектического рассуждения, сколько базовую единицу нарративного сюжета (см., например, построенную на ней схему сказочного сюжета в структурной теории фольклора), а может быть даже общую модель *события*, как оно толкуется в нарратологии и философии. Этот сюжет всегда кем-то переживается, и читателю/слушателю/зрителю предлагается вставить на точку зрения свидетеля или участника событий, условно идентифицироваться с ним (ср. идею «внутреннего опыта» как условие трансгрессии у Батая); этот сюжет предполагает специфическую темпоральность — предвосхищение, ретроспекцию, восприятие текущих событий как всегда уже структурированных во времени (см. Rioux, 1983: 87–100). Кроме того, этот сюжет всегда включает фактор случайности, непредсказуемости, сверхдетерминации, когда ход событий зависит от скрещения разных независимых причин (например, от поступков сразу нескольких персонажей). Вообще сверхдетерминация имеет место в любых явлениях, включая природные; соответственно и трансгрессии подвергаются как дескриптивные (Флобер, Якубинский), так и прескриптивные законы (Батай). Субъективный временной опыт тоже получает различные формы, не обязательно связанные с переживанием ряда последовательных событий (например, это может быть опыт непрерывной длительности); но, соединяясь вместе, эти две составляющие образуют нарративный опыт и связанный с ним тип мышления — особенную трансгрессивную позицию по отношению к закону.

Нельзя, однако, сказать, что трансгрессия — это экспансия эстетики в жизнь, «проекция» повествовательной литературы на внехудожественную реальность; скорее все происходит наоборот. Действительно, опыт нарушения табу, о котором толкуют, например, Батай или Бахтин, имеет место в человеческой жизни и культуре вне очевидной зависимости от художественного творчества. Приходится сделать вывод, что наша субъективная жизнь — она же социальная жизнь, поскольку субъективность образуется из отношений с другими, — содержит в себе такой спонтанный и вместе с тем, парадоксальным образом, законосообразный модус поведения, как нарушение законов, и он «реалистически» воспроизводится средствами художественного творчества; он сродни этому творчеству, но сам по себе коренится глубже, и, возможно, искусство и литература столь важны для нас именно благодаря его художественной имитации. В них трансгрессия одновременно и демонстрируется, и редуцируется, переходит в рутинную традицию, то есть фактически — в новый художественный закон, как, например, это было в «аморальной» либертинской литературе XVIII в., которую Андрей Добрицын остроумно предложил называть «цисгрессией», недо-трансгрессией⁵. Как «беззаконная комета» в стихах Пушкина была метафорой человека — женщины, которой посвящены его стихи, так и вообще трансгрессивный опыт заставляет нас переживать — в жизни и в искусстве — *законное беззаконие*, не застывшее в устойчивых безличных понятиях, а воплощенное в конкретном персонаже. Именно в сообщении опыта трансгрессии — иными словами, опыта экзистенции, буквально «выступления-из», нередко имеющего телесно-физиологический характер и не поддающегося концептуализации в терминах «идейного содержания», «морали», «типологии характеров» и т. п., — может заключаться глубинная функция художественного *мимесиса*.

В плане истории идей немаловажно, что все приведенные примеры относятся к современной эпохе, начиная с романтизма. Разумеется, в реальной практике люди всегда — и довольно часто — совершали трансгрессию всевозможных законов, но предметом постоянной рефлексии —

⁵Пользуюсь случаем поблагодарить за ценные замечания всех коллег, выступивших в дискуссии по моему докладу на эту тему в ходе конференций «Идея закона в интеллектуальной истории» (Санкт-Петербург, апрель 2018 г.) и «Понятие закона в науках о языке» (Лозанна, ноябрь 2018 г.).

научной и художественной — она становится лишь в XIX в.⁶ По-видимому, повышенный интерес к такому феномену связан, помимо прочего, с переменами в европейской интеллектуальной культуре, другим проявлением которых был, например, упадок идеи «Великой цепи бытия», отмеченный Артуром Лавджоем (Лавджой, Софронов-Антониони, 2001). Эта идея предполагала градуальное и непрерывное наполнение мира высокими и низкими существами, законы бытия которых не вступали в непримиримые противоречия, но дополняли друг друга, делая невозможной трансгрессию. Для романтической же культуры стало более характерным напряженное переживание дуализма — например, добра и зла, при котором закон их разделения утверждается именно в акте его нарушения. Взаимобращение «плюса» и «минуса», иерархический переворот ценностей⁷, составляет постоянную черту новоевропейской диалектики, представляющей собой, как уже показано выше, «прирученную», рационализированную форму трансгрессии. Трансгрессия — это способ самоосуществления современного субъекта, переживающего свою «экзистенцию» в головокружительном выходе за границы законопослушного поведения и творчества.

ЛИТЕРАТУРА

- Бахтин М. М.* Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Возрождения. — М. : Художественная литература, 1965.
- Бланшо М.* Литература и право на смерть / пер. с фр. С. Зенкина // Новое литературное обозрение. — 1994. — № 7. — С. 75–101.
- Добрицын А.* Реплика о законах и исключениях в языковых дисциплинах // Миргород. — 2014. — Т. 3, № 1. — С. 61–65.
- Зенкин С. Н.* Работы о теории. — М. : Новое литературное обозрение, 2012.
- Зиммель Г.* Созерцание жизни / пер. с нем. М. И. Левиной, А. М. Руткевича // Избранное. В 2 т. Т. 2 / под ред. Л. Т. Мильской. — М. : Юрист, 1996. — С. 7–298.
- Кайуа Р.* Миф и человек. Человек и сакральное / пер. с фр. С. Зенкина. — М. : ОГИ, 2003. — С. 141–294.
- Лавджой А.* Великая цепь бытия : история идеи / пер. с англ. В. Софронова-Антониони. — М. : Дом интеллектуальной книги, 2001.

⁶В более ранней культуре предвестником этого концепта можно считать католическое понятие *felix culpa*, восходящее к Августину и считающееся неортодоксальным оправданием первородного греха.

⁷Об иерархическом перевороте как фигуре или мыслительной схеме см. Зенкин, 2012: 88–90.

- Лотман Ю. М.* Декабрист в повседневной жизни (Бытовое поведение как историко-психологическая категория) // Избранные статьи. В 3 т. Т. 1. Статьи по семиотике и типологии. — Таллин : Александра, 1992а. — С. 296–336.
- Лотман Ю. М.* Динамическая модель семиотической системы // Избранные статьи. В 3 т. Т. 1. Статьи по семиотике и типологии. — Таллин : Александра, 1992b. — С. 90–101.
- Тынянов Ю. Н.* Проблема стихотворного языка // Литературная эволюция : избранные труды / предисл. В. Новикова. — М. : Аграф, 2002. — С. 29–166.
- Флобер Г.* Бувар и Пекюше / пер. с фр. М. В. Вахтеровой // Собрание сочинений. В 3 т. Т. 3. — М. : Художественная литература, 1984а. — С. 93–352.
- Флобер Г.* О литературе, искусстве, писательском труде. Письма. Статьи. В 2 т. Т. 2 / пер. с фр. А. Андрес. — М. : Художественная литература, 1984b.
- Шмитт К.* Политическая теология / пер. с нем. Ю. Коринца // Политическая теология. Сборник / сост. А. Филиппова. — М. : Канон-Пресс-Ц, Кучково поле, 2000. — С. 7–98.
- Якубинский Л.* Скопление одинаковых плавных в практическом и поэтическом языках // Избранные работы : язык и его функционирование / Л. П. Якубинский. — М. : Наука, 1986. — С. 176–182.
- Батай Ж.* Эротика / пер. с фр. Е. Д. Гальцовой // Проклятая часть: сакральная социология : пер. с фр. — М. : Ладомир, 2006. — С. 491–705.
- Ricoeur P.* Temps et récit. En 3 t. Т. 1. — Paris : Seuil, 1983.
- Zenkine S.* La forme et l'énergie : L'esthétique du formalisme russe. — Clermont-Ferrand : Presses universitaires Blaise-Pascal, 2018.

Zenkin, S. N. 2019. "Zakony transgressii [The Laws of Transgression]" [in Russian]. *Filosofiya. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki [Philosophy. Journal of the Higher School of Economics]* III (4), 59–74.

SERGEY ZENKIN

DOCTOR OF LETTERS IN PHILOLOGY; PRINCIPAL RESEARCH FELLOW,
RUSSIAN STATE UNIVERSITY FOR THE HUMANITIES, MOSCOW

THE LAWS OF TRANSGRESSION

Abstract: The modern culture, which justified the creation of social and human sciences, faced with the inconstancy of the laws of these sciences: they change, allow disturbing influences of individuals and, therefore, include regular exceptions and violations— what is called transgression in social theory. Unlike the usual exception to the rules, the transgression is always experienced and realized by the subject; unlike the dialectical contradiction, it does not necessarily include a development. Transgression can affect both descriptive and prescriptive laws, violating logical classifications, rules of language, social behavior of people. Its dynamic structure renders it close to the narrative— a text that integrates heterogeneous, often contradictory elements (events) in a temporal sequence. The article discusses various types of

transgressive violations in science and fiction: logical exceptions (on the example of an episode of Flaubert's *Bouvard and Pécuchet*), psychological estrangement (on the example of literary theories of Russian formalists), ritual transgression in anthropology (on the example of Georges Bataille's theoretical works). Reproducing transgressive practices, literature and art develop a new form of mimesis, specifically inherent in modern culture: the reciprocal interchange of "plus" and "minus" that occurs in transgression constitutes a constant feature of modern European thought; such is a form of self-realization of the modern subject, experiencing his or her "existence" in going beyond the limits of law-abiding behavior and creativity.

Keywords: Law and Law Violation, Dialectics, Narrative, Literature, Poetics, Sociology.

DOI: 10.17323/2587-8719-2019-4-59-74.

REFERENCES

- Bakhtin, M. M. 1965. *Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaya kul'tura srednevekov'ya i Vozrozhdeniya* [The Work of François Rabelais and the Popular Culture of the Middle Ages and the Renaissance] [in Russian]. Moskva [Moscow]: Khudozhestvennaya literatura.
- Batay, Zh. [Bataille, G.] 2006. "Erotika [L'Erotisme]" [in Russian]. In *Proklyataya chast': kakral'naya sotsiologiya* [La Part maudite], trans. from the French by Ye. D. Gal'tsova, 491–705. Moskva [Moscow]: Ladomir.
- Blansho, M. [Blanchot, M.] 1994. "Literatura i pravo na smert'" [La littérature et le droit à la mort]" [in Russian], trans. from the French by S. Zenkin. *Novoye literaturnoye obozreniye*, no. 7: 75–101.
- Dobritsyn, A. 2014. "Replika o zakonakh i isklyucheniyyakh v yazykovykh distsiplinakh [Note About the Laws and Exceptions in the Sciences of Language]" [in Russian]. *Mirgorod* 3 (1): 61–65.
- Flober, G. [Flaubert, G.] 1984a. [in Russian]. Vol. 2 of *O literature, iskusstve, pisatel'skom trude. Pis'ma. Stat'i* [On Literature, Art, and the Writer's Work. Letters. Articles], comp. S. Leybovich, ed. by S. Kratovoy and V. Mil'chinoy, trans. from the French by Andres. A. 2 vols. Moskva [Moscow]: Khudozhestvennaya literatura.
- . 1984b. *Buvar i Pekyushe* [Bouvard et Pécuchet] [in Russian]. In vol. 3 of *Sobraniye sochineniy* [Collected Works], trans. from the French by M. V. Vakhterova, 93–352. 3 vols. Moskva [Moscow]: Khudozhestvennaya literatura.
- Kay-ua, R. [Caillois, R.] 2003. *Mifi chelovek. Chelovek i sakral'noye* [L'Homme et le sacré] [in Russian]. Trans. from the French by S. Zenkina. 141–294. Moskva [Moscow]: OGI.
- Lavdzhoi, A. [Lovejoy, A.] 2001. *Velikaya tsep' bytiya* [The Great Chain of Being]: istoriya idei [A Study of the History of an Idea] [in Russian]. Trans. from the English by V. Sofronov-Antomoni. Moskva [Moscow]: Dom intellektual'noy knigi.
- Lotman, Yu. M. 1992a. "Dekabrist v povsednevnoy zhizni (Bytovoye povedeniye kak istoriko-psikhologicheskaya kategoriya) [The Decembrist in the Daily Life (Quotidian Behaviour as a Historical-Psychological Category)]" [in Russian]. In Lotman 1992, 296–336.
- . 1992b. "Dinamicheskaya model' semioticheskoy sistemy [A Dynamic Model of the Semiotic System]" [in Russian]. In Lotman 1992, 90–101.
- Ricœur, P. [in French]. Vol. 1 of *Temps et récit*. 3 vols. Paris: Seuil.
- Shmitt, K. 2000. *Politicheskaya teologiya* [Politische] [in Russian]. In *Politicheskaya teologiya. Sbornik* [Political Theology. Collection], by K. [Schmitt, C.] Shmitt, comp. A. Filipov, trans. from the German by Yu. Korinets, 7–98. Moskva [Moscow]: Kanon-Press-Ts / Kuchkovo pole.
- Tynyanov, Yu. N. 2002. "Problema stikhotvornogo yazyka [The Problem of Poetical Language]" [in Russian]. In *Literaturnaya evolyutsiya* [Literary Evolution] : izbrannyye trudy [Se-

- lected Works*], comp. V. Novikov, comm. by V. Novikov, with a forew. by V. Novikov, 29–166. Moskva [Moscow]: Agraf.
- Yakubinskiy, L. 1986. “Skopleniye odinakovykh plavnykh v prakticheskom i poeticheskom yazykakh [The Congestion of Smooth Consonants in Practical and Poetical Language]” [in Russian]. In *Izbrannyye raboty [Selected Works] : yazyk i yego funktsionirovaniye [Language and Its Fuctioning]*, by L. P. Yakubinskiy, 176–182. Moskva [Moscow]: Nauka.
- Zenkin, S. N. 2012. *Raboty o teorii [Works on Theory]* [in Russian]. Moskva [Moscow]: Novoye literaturnoye obozreniye.
- Zenkin, S. 2018. *La forme et l'énergie: L'esthétique du formalisme russe* [in French]. Clermont-Ferrand: Presses universitaires Blaise-Pascal.
- Zimmel', G. [Zimmel, G.] 1996. *Sozertsaniye zhizni [Lebensanschauung]* [in Russian]. In vol. 2 of *Izbrannoye [Selected Writings]*, ed. by L. T. Mil'skaya, trans. from the German by M. I. Levina and A. M. Rutkevich, 7–298. 2 vols. Moskva [Moscow]: Yurist''.